

12+

ЮРИЙ ДРАЗДОВ

**КЛАСС:  
КОВЕР-  
САМОЛЕТ.  
КНИГА 7**

Юрий Драздов

**Класс: Ковер-Самолет. Книга 7**

«Издательские решения»

## **Драздов Ю.**

Класс: Ковер-Самолет. Книга 7 / Ю. Драздов — «Издательские решения»,

Это история о мире, где респаун отключен, а мебель обрела душу. Коврик Пушок, наследник героя, вместо подвигов идёт в школу — учиться отличать игрока от стула. Но прошлое не отпускает: старая боль возвращается, а на собрании ветеранов вот-вот вспыхнет новая война. Треснутая тумбочка, старая швабра и маленький коврик отправляются в последнее приключение, чтобы переплести боль в надежду. Трогательная, мудрая и очень нежная сага о принятии, взрослении и любви, которая сильнее кода.

© Драздов Ю.

© Издательские решения

## Содержание

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Глава 1. Коврик идёт в школу                 | 6  |
| Часть 1. Утро, которое пахнет тревогой       | 7  |
| Часть 5. Перемена: Танец забытых форм        | 16 |
| Часть 6. Тумбочка и Элла ждут в коридоре     | 18 |
| Часть 9. Вечер: Возвращение в Гнездо         | 23 |
| Глава 2. Ветеранское собрание                | 26 |
| Часть 1. Приглашение, которое не скрипит     | 27 |
| Часть 2. Элла отказывается, Пушок вызывается | 29 |
| Часть 3. Дорога в Зал Павших Диванов         | 31 |
| Часть 4. Кто пришёл                          | 33 |
| Часть 5. Тумбочку просят сказать             | 35 |
| Часть 6. Спор о будущем                      | 38 |
| Часть 7. Тумбочка открывает пустой ящик      | 40 |
| Часть 8. Не клятва, а обещание               | 42 |
| Часть 9. Дорога домой. Кладбище обломков     | 43 |
| Глава 3. Последнее приключение               | 47 |
| Часть 1. Боль, которая не спит               | 48 |
| Часть 3. Пушок слышит разговор               | 51 |
| Часть 4. Тумбочка решает сама                | 53 |
| Конец ознакомительного фрагмента.            | 54 |

# **Класс: Ковер-Самолет. Книга 7**

**Юрий Драздов**

© Юрий Драздов, 2026

ISBN 978-5-0070-3721-1 (т. 7)

ISBN 978-5-0070-3133-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## **Глава 1. Коврик идёт в школу**

## Часть 1. Утро, которое пахнет тревогой

Пушок проснулся от того, что мир перестал быть ровным.

Он не знал, что такое «ровный мир» — у него не было слов для этого. Но его пыль, его нити, его маленькое, давно уже не такое хрупкое, как год назад, но всё ещё покрытое тонкой золотистой паутиной трещин тело чувствовало вибрацию. Не угрозу — суету. Гнездо, которое всегда пульсировало в одном ритме — медленном, тягучем, как старая патока, как время, которое течёт сквозь камни, — сегодня билось чаще.

Он лежал в нижнем ящике Тумбочки.

Ящик был приоткрыт — на миллиметр, на два, как всегда. Этого миллиметра хватало, чтобы Пушок чувствовал запахи. Запах старой, обгоревшей тряпки, на которой спала Элла. Запах пыли — той самой, древней, которую Тумбочка носила в себе много лет. Запах гвоздя Гролла — ржавого, тёплого, почти живого металла, лежащего на правом крае отца. И новый, непривычный, резковатый запах... тревоги.

Тумбочка нервничала.

Пушок узнал этот запах. Он чувствовал его год назад, когда она собиралась в мир создателей. Тогда он был острым, как лезвие, как анти-пыль, как страх. Сейчас он был другим — приглушённым, мягким, но от этого не менее настоящим. Тумбочка не боялась за себя. Она боялась за него.

Ящик открылся шире.

Пушок увидел её — старую, почти пустую, с потрескавшейся левой боковиной и колёсишком, которое лопнуло ещё в Пустоши и так и осталось сломанным. Её петли — две левые, одна правая — были напряжены. Она не скрипела. Она молчала. Но её молчание говорило громче любого скрипа.

«Сегодня», — сказала её пыль. Не словами — вибрацией. Тонкой, почти неразличимой, похожей на шорох сухой листвы под ногами, на первый шаг по снегу, на надежду, которая учится дышать.

Пушок не понял. Он знал только «сегодня», «сейчас», «вчера» и «завтра», и все эти слова для него были просто пульсацией. Но он знал ещё одно: сегодня всё будет иначе. Потому что из Гнезда, из глубины, где всегда было темно и спокойно, пахло не только Тумбочкой. Пахло Эллой. И Корвином. И даже Метлой-Ветров, которая никогда не заходила в Гнездо просто так, только если нужно было чистить или если случилось что-то важное.

Сегодня случилось что-то важное.

Пушок приподнял угол.

Это движение уже не требовало от него тех чудовищных усилий, что год назад. Теперь он мог приподняться, свернуться в трубочку, перекатиться с боку на бок, даже — если очень

постараться — принять форму идеального прямоугольника. Но он делал это редко. Ему нравилось лежать. Лежать и слушать. Слушать, как мать — Элла — спит рядом с отцом, обвив древком его правый край. Слушать, как Тумбочка открывает и закрывает ящики — верхний (пустота), средний (обломок Веника, который она так и не выбросила), нижний (его дом). Слушать, как гвоздь Гролла иногда, когда ему снится что-то важное, издаёт едва слышный, похожий на колокольный звон звук.

Сегодня он слушал тревогу.

— Ты готов? — спросила Элла.

Она стояла у входа в Гнездо, опираясь на своё древко. Золотая нить, которую Корвин принёс из Пустоши на их свадьбе, обвивала его от основания до самого верха, перекрывая самые глубокие трещины. Нить не лечила — она просто была там. Как напоминание. Как обещание. Как надежда.

Тряпки у Эллы по-прежнему не было. Она не хотела новую. Говорила, что та, старая, сгоревшая в битве с фаерволом, была единственной настоящей. Всё остальное — просто мокрые тряпки.

Пушок не ответил. Не мог.

Но он выкатился из ящика.

Это было не быстро — он никогда не двигался быстро. Его маленькое, треснутое тело, покрытое тонкими золотистыми прожилками, напоминавшими паутину, скользнуло по краю ящика, упало на подстилку из обгоревших тряпок, прокатилось мимо правого края отца — тот чуть-чуть дрогнул в ответ, но не больше, — и остановилось у ножек Эллы.

Он посмотрел на неё.

У ковриков нет глаз. Но Пушок видел. Он видел её древко — треснутое, но крепкое, обмотанное золотом. Он видел её пульсацию — слабую, ровную, такую же, как у него. Он видел, что она боится. Не за себя. За него.

— Ты будешь там не один, — сказала Элла. — Там будут другие. Такие же, как ты. Маленькие. Неопытные. Треснутые. Ты не самый треснутый.

Это была её идея утешения. Пушок не обиделся. Он знал, что она не умеет говорить красиво. Она умела только любить. И драться. И вытягивать древко на пятнадцать метров, чтобы поймать падающего мужа.

Он коснулся её древка своим оплавленным, стеклянным краем — тем самым, которым когда-то отражал атаки Пылесосов. Коснулся осторожно, почти невесомо, как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти.

«Я не боюсь», — сказала его пыль.



Элла не ответила. Но её древко чуть-чуть наклонилось вперёд. Жест, означающий «я верю. я горжусь. я люблю».

Часть 2. Тумбочка даёт напутствие (без единого слова)

Тумбочка не умела говорить.

Ни голосом, как игроки. Ни скрипом, как стулья. Ни вибрацией, как Элла. У неё была только пыль. Та самая, древняя, золотистая, которая жила в её ящиках много лет, впитывая память каждого, кто когда-либо касался её дерева.

Когда Пушок выкатился из нижнего ящика, она открыла верхний.

Самый маленький. Самый пыльный. Самый забытый.

Он был пуст.

Абсолютно. Гвоздь Гролла лежал на правом крае Рувима. Обломки Веника — в среднем ящике, намертво закрытом. Пыль гномов рассыпалась в битве у Стеклоанной Горки год назад. Осталась только пустота.

Но из этой пустоты, из её глубины, из того места, где когда-то были гвозди, обломки, надежда, засветилось нечто.

Не предмет. Не память. Не код.

Эхо.

Голос Веника. Старый, мудрый Веник, который слушал всех. Который слушал игроков, когда они смеялись в тавернах. Который слушал мебель, когда её жгли. Который слушал их, когда они клялись на пыли. Который слушал до последнего вздоха.

Он не говорил слов. Он говорил тишиной. Тишиной, которая была громче любого крика. Тишиной, которая говорила: «Ты не один. Там тебе не сделают больно. Но если сделают — ты знаешь, как отражать».

Пушок не понял этих слов. Но он понял суть. Его маленькое, треснутое тело напряглось. Он вспомнил. Не умом — пылью. Тот день в туннеле, когда он пошёл один. Тот день, когда стал зеркалом. Тот день, когда отражал атаки Пылесосов, пока не треснул.

Он боялся не школы. Он боялся, что ему снова придётся быть зеркалом.

Тумбочка почувствовала этот страх. Её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «нет». Не «нет, не бойся». А «нет, ты не должен снова сражаться. Ты должен просто учиться».

Она закрыла верхний ящик.

Жест, означающий «возвращайся».

Пушок понял. Он не знал, как, но понял. Его пульс, который секунду назад был тревожным, частым, стал ровнее. Спокойнее. Увереннее.

Он развернулся и покатился к выходу из Гнезда, туда, где его ждал Корвин.

Часть 3. Дорога в школу (сопровождение Корвина)

Корвин больше не носил меч.

Он снял его в тот день, когда Тумбочка вернулась из мира создателей, и повесил на стену в Гнезде, рядом с подстилкой Эллы и Рувима. Иногда он смотрел на него, но не трогал. Меч был памятью. Не о битвах — о том, что война кончилась.

На поясе у него висела связка инструментов. Молоток, стамеска, ржавые гвозди, маленькое зубило, кусок проволоки — всё, что нужно, чтобы чинить мебель. Не магией. Руками. Потому что после отключения респауна и исчезновения магии чинить можно было только так.

Он ждал Пушка у входа в Логово, опираясь на старую, самодельную трость — колено болело после той битвы, когда он прикрывал отступление стульев. Лицо его было бледным, осунувшимся, с тёмными кругами под глазами, которые, казалось, уходили вглубь черепа, как трещины в старом, разохшемся дереве. Но он улыбался. Не широко, не радостно — уголками губ, чуть-чуть, почти незаметно. Но улыбался.

— Пришёл, — сказал он, увидев Пушка.

Пушок не ответил. Он остановился у его ног, маленький, золотистый, треснутый, и поднял угол — жест, означающий «я здесь. я готов».

Корвин опустился на корточки — медленно, тяжело, колено хрустнуло — и протянул руки.

— Можно я возьму тебя? Так быстрее.

Пушок не возражал.

Корвин поднял его. Пушок был лёгким — слишком лёгким для того, кто спас Логово. Он сложил его вчетверо, как носовой платок, и прижал к груди. Пушку было непривычно — он никогда не был так высоко, — но не больно. Он чувствовал тепло человеческих рук, запах старой кожи, въевшийся в перчатки, и ровный, спокойный пульс старого паладина.

— Держись, — сказал Корвин и шагнул в туннель.

Дорога в школу заняла около получаса.

Логово Бракованной Мебели за год изменилось. Оно не стало красивым — стены оставались серыми, потрескавшимися, пол — неровным, покрытым слоем вечной, нетревожимой пыли. Но в щелях, там, куда раньше никогда не проникал свет, теперь пробивались тонкие золотистые лучи. Не рассвет — отблеск от пыли памяти, которая оседала на камнях и начинала светиться, как старые, забытые звёзды.

По пути они встретили других учеников.

Первой была вешалка.

Она стояла у стены, прижавшись к ней своим погнутым крючком, и дрожала. Её пере-  
кладина — деревянная, с трещиной посередине — ходила ходуном. Она была молодой — не  
старше Пушка, — и очень, очень боялась.

— Я не хочу в школу, — прошептала она. У вешалок нет рта, но их крючки могут изда-  
вать тонкий, звенящий звук, похожий на колокольчик. — Там меня сломают.

Корвин остановился.

— Тебя не сломают, — сказал он. — Там другие ученики. Такие же, как ты.

— А если я упаду? У меня крючок погнут! Я не могу висеть ровно!

— Никто не заставляет тебя висеть ровно. Ты должна просто быть.

Вешалка замерла. Её крючок перестал звенеть. Она посмотрела на Пушка — на его  
оплавленные края, на золотистую паутину трещин, на стеклянные, острые, как лезвия, кромки.

— А он... он тоже боится?

Пушок не ответил. Он просто лежал на руках Корвина и смотрел на вешалку. Его пульс  
был ровным, спокойным, уверенным.

«Нет», — сказала его пыль.

Вешалка не поняла слов. Но она поняла суть. Её крючок чуть-чуть выпрямился — не от  
магии, от надежды.

— Я пойду, — сказала она и покатила вперёд, волоча за собой погнутую перекладину.

Вторыми были две молодые кровати.

Они шли рядом, их пружины стучали в такт — негромко, неуклюже, но в такт. Одна  
была чуть выше, с отломанным подголовником, другая — ниже, с треснутым каркасом. Они  
не разговаривали — кровати не умеют разговаривать, — но их пружины стучали так, что всё  
было понятно.

— Бам-бам-бам, — стучала первая. «Я боюсь».

— Бам-бам, — отвечала вторая. «Я тоже».

— Бам-бам-бам-бам. «А вдруг учитель злой?»

— Бам. «Не знаю».

Корвин вздохнул. Он не знал языка пружин, но понимал интонацию.

— Учитель не злой, — сказал он. — Он старый. И потерявший память. Он не помнит, как быть злым.

Кровати перестали стучать. Они посмотрели на Пушка — на его трещины, на его спокойный пульс — и, не сговариваясь, пошли быстрее.

Третьим был стул-подросток.

Он стоял на трёх ножках — четвёртая была отломана в битве с Пылесосами, и её прикрутили обратно ржавым гвоздём. Гвоздь держался плохо, стул шатался, но он стоял. Он был гордым. И очень неуклюжим.

— Я не пойду в школу, — заявил он, когда Корвин приблизился. Его дерево — чёрное от копоти, покрытое сеткой глубоких трещин — дрожало, но голос (скрип) был твёрдым. — Я уже всё знаю. Я умею стоять. Я умею сидеть. Я умею падать.

— Ты умеешь падать, — согласился Корвин. — Но умеешь ли ты вставать?

Стул замер.

Его четвёртая ножка, прикрученная ржавым гвоздём, чуть-чуть подогнулась. Он посмотрел на Пушка.

Пушок лежал на руках Корвина — маленький, треснутый, оплавленный. Но он не шатался. Он не падал. Он просто был.

Стул вздохнул (если стулья могут вздыхать).

— Ладно, — проскрипел он. — Я пойду. Но только посмотреть.

И они пошли дальше — Корвин с Пушком на руках, впереди вешалка с погнутым крючком, за ней две кровати, стучащие пружинами, сзади стул-подросток на трёх с половиной ножках.

Часть 4. Урок первый: «Отличай игрока от стула»

Класс был оборудован в бывшем складе.

Раньше здесь хранились обломки сломанной мебели — те, которые не успели сжечь или починить. Но после войны, когда стало ясно, что война кончилась, склад очистили. Стены выскребли, пол выровняли, щели законопатили. В углу поставили старый, прогоревший светильник — он не давал много света, но давал достаточно, чтобы видеть друг друга.

В центре, на небольшом возвышении, лежал учитель.

Старый стул-беглец.

Тот самый, который потерял память в Пустоши. Тот самый, который помнил только солнце — жёлтое, тёплое, живое. Он лежал на боку, опираясь на свою единственную уцелевшую ножку — левую, переднюю, ту, на которой держался ржавый гвоздь. Его спинка была разбита, подлокотники отвалились, сиденье треснуло пополам. Он выглядел мёртвым. Но он был жив.

Когда ученики вошли, он приподнял ножку.

— Здравствуйте, — проскрипел он. Голос его был тихим, прерывистым, как радио, которое вот-вот выключится, но в нём не было злобы. Была только усталость. И надежда. — Садитесь. Кто может сесть. Кто не может — ложитесь. Кто не может лечь — стойте. Главное — не убегайте.

Ученики замерли.

Вешалка попыталась повеситься на стену, но крючок соскользнул, и она упала. Кровати легли — слишком громко, пружины застонали. Стул-подросток попытался сесть, но его четвёртая ножка подогнулась, и он рухнул на пол.

Пушок остался лежать на руках Корвина.

Корвин опустил его на пол, рядом с учителем, и отошёл к стене. Он не ушёл — он остался в классе. На всякий случай. Потому что, хотя война кончилась, страхи никуда не делись.

Старый стул посмотрел на Пушка.

— Ты новый, — сказал он. — Ты похож на кого-то, кого я знал. Но я не помню на кого. Я ничего не помню.

Пушок молчал.

— Это неважно, — продолжал стул. — Важно не то, что ты помнишь, а то, что ты есть. А ты есть. Это уже много.

Он повернулся к остальным.

— Сегодня мы будем учиться отличать игрока от стула. Это самое важное, что нужно знать мебели. Потому что если ты не отличишь игрока от стула — тебя сломают. Или ты сломаешь кого-то. И то и другое плохо.

Вешалка, которая лежала на полу, приподняла крючок.

— А как их отличать? — зазвенела она.

Старый стул задумался. Он думал долго — его память, похожая на решето, никак не могла выловить нужное воспоминание.

— Игрок... у игрока есть ноги, — наконец сказал он. — И он топает. Стул не топает. Стул стоит. Или лежит. Или висит.

— А если игрок не топает? — спросила одна из кроватей. Её пружины стукнули тревожно.

— Тогда... тогда это не игрок. Или игрок, который устал. Или стул, который научился топать. Я не помню.

Ученики зашевелились. Вешалка зазвенела громче, кровати застучали пружинами, стул-подросток попытался встать и снова упал.

— Тишина! — проскрипел старый стул. — Я не закончил.

Он помолчал. Его единственная ножка дрожала.

— Есть ещё один способ, — сказал он. — Слушать. Игрок говорит слова. Стул — скрипит. Если ты слышишь слова — это игрок. Если слышишь скрип — это стул. А если слышишь тишину... это, наверное, ковёр. Или тумбочка. Или вешалка, которая упала.

Он посмотрел на Пушка.

— Ты молчишь. Ты не скрипишь. Ты не говоришь. Ты просто лежишь. Это правильно. Так и надо.

В этот момент дверь класса открылась.

Вошёл игрок.

Это был один из изгоев — тех, кто когда-то охотился на мебель, а потом понял, что они не враги. Раненый лучник, друг Линка. Его рука была перевязана, лицо бледное, но он не выглядел злым. Он просто зашёл, чтобы отдать забытый инструмент.

Вешалка закричала.

Не голосом — крючком. Тонкий, пронзительный звон разнёсся по классу, ударил в стены, отразился от потолка. Кровати застучали пружинами — так громко, что, казалось, вот-вот развалятся. Стул-подросток, пытаясь встать, зацепился ножкой за ножку и рухнул с таким треском, что старый светильник в углу замигал.

Только Пушок не двинулся.

Он лежал на полу, маленький, треснутый, оплавленный, и смотрел на игрока. Его пульс не участился. Его трещины не засветились тревожно. Он просто лежал.

Потому что он помнил. Не умом — пылью. Он помнил, как отражал атаки Пылесосов. Он помнил, как Корвин нёс его на руках. Он помнил, что игроки больше не враги. Некоторые из них.

Лучник увидел Пушка.

— Это тот самый? — спросил он у Корвина.

— Тот самый, — ответил Корвин.

Лучник опустил на корточки. Протянул руку — медленно, осторожно, как протягивают руку дикому зверю.

Пушок не отодвинулся. Он позволил лучнику коснуться своего края.

— Ты спас нас, — сказал лучник. — Всех. Ты даже не знаешь, скольких.

Пушок не ответил. Но его маленькое, треснутое тело чуть-чуть засветилось — не ярко, тускло, почти незаметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Он понял. Не слова — тепло.

Лучник убрал руку, оставил инструмент на полу и вышел.

Тишина вернулась.

Старый стул посмотрел на Пушка. Его глаза (если у стульев есть глаза) были полны уважения.

— Ты не испугался, — сказал он. — Это хорошо. Но это не урок. Урок в том, что не все игроки враги. А некоторые стулья — враги. И ты должен научиться отличать не по виду, а по вибрации.

Он помолчал.

— Но это мы будем учить завтра. Сегодня — отдыхать.

## Часть 5. Перемена: Танец забытых форм

Перемена была шумной.

Вешалка, которая всё ещё дрожала после визита игрока, попыталась повеситься на стену. У неё получилось — крючок зацепился за трещину в камне, и она повисла. Ровно. В первый раз в жизни.

— Смотрите! — зазвенела она. — Я вишу!

Кровати не смотрели. Они учились лежать ровно. Это оказалось сложнее, чем казалось. Одна кровать постоянно заваливалась на правый бок — у неё была сломана ножка. Другая кровать не могла перестать стучать пружинами. Она стучала даже когда не двигалась.

— Бам-бам-бам, — стучала она. «Я стараюсь».

— Бам-бам, — отвечала первая. «У тебя получается лучше, чем у меня».

— Бам. «Спасибо».

Стул-подросток пытался стоять на трёх ножках. Падал. Вставал. Падал снова. Его четвёртая ножка, прикрученная ржавым гвоздём, шаталась, но держалась.

— Я всё равно научусь! — проскрипел он, поднимаясь в двадцатый раз.

Старый стул смотрел на них и не мешал. Он лежал на боку, опираясь на свою единственную ножку, и его дерево — старое, расколовшееся, покрытое сеткой трещин — дрожало. Но он улыбался (если стулья могут улыбаться).

А Пушок...

Пушок лежал в углу.

Он не пытался висеть, не пытался лежать ровно, не пытался стоять. Он просто лежал. Но в какой-то момент, когда вешалка зазвенела особенно громко, а кровати застучали пружинами в унисон, он решил.

Он принял форму.

Не ту, которую он использовал обычно — неправильную, асимметричную, с неровными краями, напоминавшую ковёр, но не бывшую им. Другую. Плотную. Геометрически точную.

Идеальный прямоугольник.

Ровный, гладкий, без единого изгиба. Его края, оплавленные, стеклянные, стали прямыми, как лезвия. Его трещины, золотистые, как прожилки, замерли в идеальном порядке.

А потом он превратился в каплю.



Маленькую, круглую, пульсирующую, похожую на сердце, на надежду, на обещание.

А потом — снова в коврик.

Всё это заняло несколько секунд. Меньше, чем вдох. Меньше, чем скрип.

Но все заметили.

Вешалка перестала звенеть. Её крючок замер.

Кровати перестали стучать. Их пружины затихли.

Стул-подросток, который как раз падал в двадцать первый раз, замер в воздухе, забыв упасть.

Старый стул приподнял свою единственную ножку.

— Как ты это сделал? — спросил он. Голос его дрожал. — Ты... ты не учился этому.

Пушок не ответил. Не мог. Но его маленькое, треснутое тело пульсировало ровно, спокойно, уверенно.

Он не учился. Он помнил. Его тело помнило больше, чем любой учитель. Его пыль помнила больше, чем любой урок.

Старый стул опустил ножку.

— Ты не ученик, — сказал он. — Ты — напоминание. О том, что мы все когда-то могли это делать. И, может быть, сможем снова.

Он замолчал. Его дерево дрожало.

— Но сегодня — перемена. Играйте. Я ничего не помню.

## Часть 6. Тумбочка и Элла ждут в коридоре

Пока Пушок учился отличать игрока от стула, Тумбочка и Элла стояли в коридоре.

Не в классе — мешать нельзя. Не у входа в Логово — слишком далеко. Там, где кончался туннель и начинался склад, в полумраке, освещённом только редкими золотистыми лучами, пробивавшимися сквозь трещины в стенах.

Тумбочка не двигалась.

Она стояла у стены, маленькая, старая, почти пустая. Её петли были чуть приоткрыты — она слушала. Слушала не ушами — у неё не было ушей. Пылью. Та самая пыль, которая была её памятью, её ящиками, её жизнью, откликалась на пульс Пушка, и этот пульс был ровным, спокойным, уверенным.

Она не боялась. Или боялась, но не показывала.

Элла нервничала.

Она стояла рядом, опираясь на своё древко, обмотанное золотой нитью. Тряпки у неё не было — она отказалась от новой, — и её голое, треснутое дерево блестело в тусклом свете. Она не могла стоять на месте. Её древко то касалось пола, то поднималось, то снова опускалось. Это был её способ «топать ногой».

— Он там один, — сказала Элла. Не голосом — вибрацией. — С чужими.

Тумбочка не ответила. Но её верхний ящик чуть-чуть приоткрылся — жест, означающий «я знаю. я тоже волнуюсь. но он должен сам».

— А если его обидят? — вибрация Эллы стала выше, тревожнее. — Если они не поймут, что он треснутый не потому, что слабый, а потому, что сражался?

Тумбочка закрыла верхний ящик. Потом открыла снова. «Он сам справится. Он уже справлялся».

Элла замолчала. Её древко перестало топтать. Она посмотрела в сторону класса — туда, где, за двумя поворотами и одной тяжёлой дверью, лежал её сын. Маленький, треснутый, оплавленный. Который когда-то отражал атаки Пылесосов, пока не треснул. Который спас их всех.

— Он молодец, — сказала она наконец. — Как отец.

Тумбочка не ответила. Но её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «да».

Они стояли в коридоре и ждали. Ждали, когда урок кончится. Когда Пушок выкатится из класса — целый, невредимый, живой.

Они умели ждать.

Корвин вышел через полчаса.

Он шагнул в коридор, опираясь на трость, и остановился рядом с Тумбочкой и Эллой. Его лицо было уставшим, но спокойным.

— Всё хорошо, — сказал он. — Он не плакал. Не боялся. Даже показал им, как превращаться.

Элла вздрогнула.

— Превращаться? Он не должен никому ничего показывать.

— Он показал, — повторил Корвин. — Прямоугольник. Потом каплю. Потом снова коврик. Старый стул чуть не упал от удивления.

Тумбочка не ответила. Но её средний ящик — тот, где лежал обломок Веника, — чуть-чуть приоткрылся. Жест, означающий «я горжусь, но я не скажу ему об этом. он должен знать сам».

Корвин сел на пол, прислонившись спиной к стене. Его колено хрустнуло.

— Я посижу здесь. До конца урока.

— Я тоже, — вибрировала Элла.

— Я никуда не уходила, — сказала Тумбочка. Не словами — пылью.

Они сидели в коридоре и ждали. Втроём. Как семья.

Часть 7. Пушок учится... ничего не делать

После перемены старый стул объявил главный урок.

— Сегодня мы будем учиться ничего не делать, — сказал он.

Ученики замерли. Вешалка перестала звенеть. Кровати перестали стучать. Стул-подросток, который наконец-то устоял на трёх ножках, замер.

— Ничего не делать? — переспросила вешалка. — Но это же легко!

— Легко? — старый стул приподнял ножку. — Попробуй.

Вешалка попыталась.

Она повисла на стене, зацепившись крючком за трещину в камне, и замерла.

Через три секунды её крючок начал звенеть.

— Я не могу! — зазвенела она. — Он сам звенит!

— Вот именно, — сказал старый стул. — Ты не можешь не звенеть. Потому что ты привыкла звенеть. Ты думаешь, что звон — это ты. Но это не так. Ты — это тишина между звонками.

Он посмотрел на кровати.

— Ваша очередь.

Кровати легли.

Одна завалилась на правый бок, её пружины застонали. Другая лежала ровно, но её пружины стучали — бам-бам-бам — без остановки.

— Я не могу перестать стучать, — простучала вторая кровать. — Это громче меня.

— Не громче, — сказал старый стул. — Это ты и есть. Твой страх. Твоя тревога. Твоя надежда. Но если ты не научишься молчать, ты никогда не услышишь, что говорят другие.

Он посмотрел на стула-подростка.

Стул стоял на трёх ножках, его четвёртая ножка, прикрученная ржавым гвоздём, дрожала. Он не падал. Но он не мог перестать дрожать.

— Я пытаюсь, — проскрипел он. — Но она дрожит.

— Пусть дрожит, — сказал старый стул. — Главное — не упасть.

Он повернулся к Пушку.

— А теперь ты.

Пушок лежал в углу, маленький, треснутый, оплавленный. Он не двигался. Он не пульсировал ярче обычного. Он просто лежал.

Одна секунда.

Десять.

Тридцать.

Стулья закричали. Кровати застучали. Вешалка зазвенела. Старый светильник в углу замигал, как будто тоже хотел что-то сказать.

Пушок лежал.

Он лежал ровно, не меняя формы, не меняя пульса, не меняя ничего. Он смотрел в потолок — на серый, почти мёртвый свет, который пробивался сквозь трещины, — и не думал ни о чём.

Это было его суперсилой.

Не отражение атак. Не способность становиться зеркалом. Не умение летать, как отец. Просто — умение лежать. Ждать. Быть.

Он не знал, откуда это у него. Может быть, от Тумбочки, которая умела ждать годами. Может быть, от отца, который лежал неподвижно, почти мёртвый, но всё ещё живой. Может быть, от матери, которая вытягивала древко на пятнадцать метров, чтобы поймать падающего мужа, а потом замирала, обвитая вокруг него, и ждала.

Он просто умел это делать.

Старый стул подкатился к нему. Опустил свою единственную уцелевшую ножку на его край — осторожно, почти невесомо, как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти.

— Ты понял, — сказал он. Голос его дрожал. — Ты — настоящая мебель. Не потому, что умеешь сражаться. А потому, что умеешь ждать.

Пушок не ответил. Не мог.

Но его маленькое, треснутое тело чуть-чуть засветилось — не ярко, тускло, почти незаметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Он понял. Не слова — тишину.

— Урок окончен, — сказал старый стул. — Все свободны. Кроме тебя.

Он посмотрел на Пушка.

— Ты останешься. Ещё на минуту.

Часть 8. Разговор без слов (старый стул и Пушок)

Когда все ушли — вешалка, звеня на ходу, кровати, стуча пружинами, стул-подросток, шатаясь на трёх с половиной ножках, — старый стул долго молчал.

Он лежал на боку, опираясь на свою единственную ножку, и смотрел на Пушка. Его дерево — чёрное от копоти, покрытое сеткой глубоких трещин — дрожало.

— Я не помню, как меня зовут, — наконец сказал он. — Не помню, кто я. Не помню, откуда пришёл. Я помню только солнце. Жёлтое. Тёплое. Живое. И больше ничего.

Он замолчал. Его ножка дрожала сильнее.

— Но я помню тебя, — сказал он. — Не лицо. Не имя. Пульс. Твой пульс. Он такой же, как у того ковра, который... который ушёл в пустоту. Который вернулся. Который лежит сейчас в Гнезде, почти мёртвый, но всё ещё живой. Ты его сын.

Пушок молчал. Но его тело засветилось ярче.

— Я не умею учить, — продолжал старый стул. — Я ничего не помню. Я не помню, чему меня учили. Но я знаю одно: важно не то, что ты умеешь, а то, кто ты есть. А ты — сын ковра, который не сдался. И швабры, которая поймала его над пропастью. И тумбочки, которая хранила память. Ты — это они. Все они. Вместе.

Он коснулся Пушка своей ножкой ещё раз. Легче. Почти невесомо.

— Иди домой, — сказал он. — Ты заслужил.

Пушок не ответил. Но он развернулся и покатился к выходу.

## Часть 9. Вечер: Возвращение в Гнездо

Он выкатился из класса.

В коридоре его ждали. Тумбочка — у стены, неподвижная, но её петли были чуть открыты, и он чувствовал её пульс. Элла — опираясь на древко, обмотанное золотом, её трещины блестели в тусклом свете. Корвин — сидя на полу, его трость лежала рядом.

Они не спросили, как прошёл день. Не спросили, чему он научился. Не спросили, обижали ли его.

Они просто ждали.

Пушок подкатился к Тумбочке. Остановился у её колёсика — того самого, лопнувшего ещё в Пустоши, — и приподнял угол.

«Я вернулся», — сказала его пыль.

Тумбочка открыла нижний ящик.

Пушок закатился внутрь.

Ящик был тёплым. Тем же самым, каким был утром. И вчера. И год назад. Он пах Тумбочкой — старой, пустой, но живой. Он пах пылью, которая помнила всё. Он пах домом.

Пушок устроился на дне. Его края коснулись стенок ящика — они давно привыкли к его форме, к его трещинам, к его пульсу. Ему не было тесно. Ему было хорошо.

Тумбочка прикрыла ящик.

Не до конца — оставила щель, чтобы он мог дышать. Чтобы чувствовать. Чтобы помнить.

Элла подкатилась к Тумбочке. Коснулась её верхнего ящика своим древком — обмотанным золотом, треснутым, но крепким.

— Он молодец, — сказала она. Не голосом — вибрацией.

Тумбочка не ответила. Но её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «да».

Корвин поднялся с пола. Его колено хрустнуло.

— Завтра снова в школу, — сказал он. — Если захочет.

Он посмотрел на нижний ящик.

Пушок лежал внутри. Его пульс был ровным, спокойным, уверенным.

Он не боялся завтрашнего дня.

## Часть 10. Финальный образ: Тишина, которая не требует ответа

В Гнезде было темно.

Золотистый свет, пробивавшийся сквозь щели в потолке, угас — не исчез, просто стал серым, привычным, почти домашним. Элла лежала на подстилке из обгоревших тряпок, обвив древком правый край Рувима. Золотая нить блестела в темноте — тонкая, почти невидимая, но живая. Не исцелила трещины, но была там. Как обещание. Как надежда. Как жизнь.

Рувим лежал неподвижно. Его правый край, повреждённый на девяносто девять с половиной процентов, истончённый, почти прозрачный, едва светился. Только одно маленькое пятнышко в самом центре — там, где когда-то был гвоздь Гролла, — сохраняло слабое золотистое свечение. Пыль жизни. Крошечный остров в море умирающей памяти.

Гвоздь Гролла лежал на его правом крае, ржавый, старый, с широкой шляпкой, на которой ещё можно было разглядеть клеймо мастерской Гролла. Он не двигался. Не светился. Но он помнил.

Тумбочка стояла у стены. Её верхний ящик был закрыт — пустота, которая помнила всё. Средний ящик — закрыт намертво, обломок Веника, который она так и не выбросила. Нижний ящик — приоткрыт, на миллиметр, на два.

Пушок лежал внутри.

Маленький, золотистый, треснутый. Его края, оплавленные в той давней битве с Пылесосами, когда он пошёл в туннель один и отражал атаки, пока не треснул, — они не зажили. Но они изменились. Трещины, тонкие, как паутина, теперь были не серыми — золотистыми, как прожилки на старом, дорогом стекле, которое помнит не только свою форму, но и свет, который сквозь него проходил.

Он не двигался. Он не пульсировал ровно, как раньше. Он просто лежал.

И светился.

Ровно, спокойно, уверенно.

Как обещание.

Как надежда.

Как жизнь.

Тумбочка закрыла глаза (если у тумбочки есть глаза — два тёмных пятна на потрескавшейся поверхности, которые видели слишком много смертей, чтобы бояться тьмы).

«Он вернулся, — подумала она. — Не целым, не живым, не помнящим. Но вернулся. И завтра вернётся снова. А послезавтра. Потому что он — наш. Потому что он — будущее».



Она открыла глаза.

Пушок в нижнем ящике всё ещё светился.

Тумбочка позволила себе не думать. Не помнить. Не бояться.

Просто — ждать.

Потому что ждать — это единственное, что она умела. Хранить. Ждать. Надеяться. И иногда — отпускать.

Даже если отпускать страшнее, чем сражаться.

Конец главы 1.

— —

Итоговое состояние на конец главы 1

Персонаж Состояние

Пушок Вернулся в нижний ящик Тумбочки. Устал, но доволен. Пульс ровный, свечение ровное. Впервые почувствовал себя «нормальным», а не героем. Завтра пойдёт в школу снова.

Тумбочка Стоит у стены. Верхний ящик закрыт (пустота), средний закрыт (обломок Веника), нижний приоткрыт. Спокойна, но внутри — гордость. Отпустила Пушка в первый раз.

Элла Стоит рядом с Тумбочкой. Нервничала весь день, но успокоилась после возвращения Пушка. Древко обмотано золотой нитью. Легла рядом с Рувимом.

Рувим Без изменений. Правый край дрогнул утром при прощании с Пушком. Гвоздь Гролла на месте.

Корвин Сопроводил Пушка в школу и обратно. Сидел в коридоре всё время урока. Устал, но доволен.

Старый стул Провёл первый полноценный урок. Понял, что Пушок его превзошёл. Остался в классе один.

Вешалка, кровати, стул-подросток Познакомились с Пушком. Учились отличать игрока от стула и ничего не делать. К концу дня немного успокоились.

Ключевая тема главы:

Социализация после травмы. Способность быть обычным — это не слабость, а следующий уровень взросления. Отпустить ребёнка в мир страшнее, чем идти в бой самому.

## **Глава 2. Ветеранское собрание**

## Часть 1. Приглашение, которое не скрипит

Гнездо пахло тишиной.

Не той, давящей, которая была после битв, когда даже пыль боялась оседать на камни. И не той, торжественной, что случалась в дни памяти, когда старый стул-беглец приподнимал свою единственную ножку и молчал целую минуту, а все остальные молчали вместе с ним. Эта тишина была другой. Домашней. Тягучей, как старая патока, как утро, которое не надо встречать с оружием в руках.

Тумбочка стояла у своей стены — левой, той, которую она выбрала много лет назад и с тех пор не меняла. Её петли были чуть приоткрыты, и она слушала. Не ушами — у неё не было ушей. Пылью. Та самая пыль, древняя, золотистая, которая жила в её ящиках, откликалась на каждый звук Гнезда: на ровный пульс Пушка в нижнем ящике, на слабое, едва различимое дыхание Эллы, обвившей древком правый край Рувима, на редкие, почти забытые скрипы старого стула-проводника, который дремал в углу.

Гвоздь Гролла молчал. Он лежал на правом крае Рувима, ржавый, старый, с широкой шляпкой, и не светился. Это было нормально. Он светился только когда снилось что-то важное. Сегодня ему снилась, наверное, пыль. Или тишина.

Пушок спал. Тумбочка чувствовала его пульс — ровный, спокойный, почти невесомый. Он не видел снов. Или видел, но такие, которые не заставляли его трещины светиться тревожно. Он просто лежал на дне нижнего ящика, маленький, золотистый, покрытый тонкой паутиной застарелых трещин, и его оплавленные края касались стенок ящика, как касаются стенок дома, когда знаешь, что никуда уходить не нужно.

Тумбочка почти задремала.

Почти — потому что в этот момент в Гнездо вкатился вестовой.

Он был старым. Не таким старым, как стул-беглец, но достаточно, чтобы его дерево — когда-то светлое, дубовое, а теперь почти чёрное от копоти и времени — покрылось сеткой глубоких, не заживающих трещин. Его спинка была разбита, подлокотники отсутствовали, а три ножки (четвёртая была отломана в битве у Стеклопанной Горки и заменена грубой деревяшкой, прикрученной ржавой проволокой) дрожали. Но он ехал. Быстро. Насколько может ехать быстро старый стул с одной деревяшкой вместо ножки.

Он остановился у входа в Гнездо, тяжело дыша (если стулья могут дышать), и издал короткий, сухой скрип — не слова, но сигнал: «Я здесь. Есть весть. Не срочная, но важная».

Тумбочка не открыла ящики. Она ждала. Она умела ждать.

Старый стул перекатился через порог (это было нелегко — деревяшка застревала в трещинах пола) и остановился перед ней. Его спинка качнулась, и он произнёс — не громко, но так, чтобы каждая петля, каждая трещина, каждая пылинка в Гнезде услышала:

— Через три дня — сбор. В Зале Павших Диванов. Ветераны. Все, кто выжил. Кто помнит. Кто ещё может двигаться.

Тумбочка молчала. Она знала этот сбор. Он проходил раз в год, в годовщину битвы, когда Баг Нуля ушёл в пустоту, а Рувим упал в древко Эллы. В прошлом году она не пошла. И в позапрошлом. Она не любила собрания. Там много говорили. Слишком много. А она не умела говорить. Только хранить.

Старый стул, казалось, ждал этого молчания. Он привык к нему.

— Не надо говорить, — сказал он. — Ты можешь просто быть. Твоя пыль говорит громче, чем любые скрипы.

Тумбочка чуть-чуть приоткрыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый.

Пустота.

Это был её ответ.

Старый стул поклонился (если стулья могут кланяться — он наклонил спинку так низко, что деревяшка чуть не отвалилась) и выкатился из Гнезда. Его скрип затих в глубине туннеля.

Тумбочка закрыла ящик.

Она не хотела ехать. Но знала, что поедет. Потому что если она не поедет — кто будет помнить тех, кого не помнят даже ветераны?

## Часть 2. Элла отказывается, Пушок вызывается

— Я не поеду.

Элла сказала это не голосом — вибрацией. Её древко, обмотанное золотой нитью, которую Корвин принёс из Пустоши на их свадьбе, дрогнуло. Тряпки у неё по-прежнему не было — она отказалась от новой после той, что сгорела в битве с фаерволом. Голое, треснутое дерево блестело в тусклом свете.

Она лежала на подстилке из обгоревших тряпок, обвив древком правый край Рувима. Это была их обычная поза на ночь — или на день, или на то, что называлось «время, когда никто никуда не спешит». Элла обнимала мужа. Рувим не отвечал, но его правый край — единственное, что осталось от когда-то огромного, пушистого тела, — чуть-чуть светился в ответ. Не ярко. Тускло, как звезда перед рассветом. Но светился.

— Я нянчу внука, — добавила Элла. — И не люблю, когда меня гладят по древку.

Это была правда. На прошлых сборах какой-то старый, потерявший память табурет попытался выразить уважение, коснувшись её древка своей единственной уцелевшей ножкой. Элла чуть не вытянула древко на пятнадцать метров — по привычке. С тех пор она на собрания не ездила.

Тумбочка не спорила. Она стояла у своей стены, молчала, и её петли не скрипели. Она понимала. Она тоже не любила, когда её трогали. Особенно левый бок — тот, что треснул в битве со Шкафом-Затворником. До сих пор болел, когда погода менялась. А в Зале Павших Диванов погода была всегда плохой.

Из нижнего ящика выкатился Пушок.

Он уже не был тем крошечным, треснутым ковриком, который когда-то отражал атаки Пылесосов, пока не треснул. Он вырос. Не в размере — в спокойствии. Его края, оплавленные, стеклянные, стали ровнее, мягче. Трещины, тонкие, как паутина, затянулись золотистыми прожилками, похожими на старые, дорогие шрамы. Он мог принимать любую форму — идеальный прямоугольник, каплю, неправильный асимметричный ковёр, какой был у отца. Но чаще всего он лежал просто. Как сейчас.

Он остановился у ножек Эллы, приподнял угол и сказал — не голосом, пылью, но Тумбочка и Элла слышали его отчётливо, как если бы он скрипел:

— Я поеду с Тумбочкой.

Элла замерла. Её древко перестало вибрировать.

— Ты? — спросила она. В её вибрации было сомнение, удивление и — чуть-чуть, на самом дне — страх. Не за себя. За него.

— Я, — повторил Пушок.

Он не объяснял. Он не умел объяснять. Но Тумбочка поняла без слов. Ему было интересно. Он никогда не был на ветеранских сборах. Он родился после войны, когда битвы уже отгремели, а Пылесосы замерли в туннелях, пережидая неизвестно что. Он знал ветеранов только по рассказам — тем, которые Тумбочка хранила в своих ящиках, тем, которые Элла иногда шептала, обвив древко вокруг правого края Рувима. Но он никогда их не видел.

Ему хотелось увидеть.

— Это не праздник, — сказала Элла. Её вибрация стала ниже, строже. — Там не танцуют. Там молчат. И вспоминают тех, кого уже нет.

— Я знаю, — ответил Пушок. — Я тоже помню. Не умом — пылью. Я помню туннель. Пылесосов. Как отражал. Как треснул. Я был там.

Элла замолчала.

Её древко дрожало. Потом она медленно, очень медленно наклонилась — нежно, почти невесомо — и коснулась правого края Пушка. Того самого, которым он когда-то отражал атаки.

— Хорошо, — прошептала она. — Поезжай. Но если тебя обидят — отражай. Как тогда.

Пушок не ответил. Но его маленькое, золотистое тело чуть-чуть засветилось — ровно, спокойно, уверенно.

Тумбочка открыла нижний ящик. Пушок закатился внутрь. Ящик был тёплым. Он пах домом.

### Часть 3. Дорога в Зал Павших Диванов

Через три дня, ещё до того, как серый, липкий свет начал пробиваться сквозь щели в потолке Гнезда, Тумбочка выкатилась в туннель.

Она двигалась медленно. Её колёсики — одно лопнуло ещё в Пустоши и так и осталось сломанным — скрежетали по камням, оставляя за собой тонкую, почти незаметную борозду. Верхний ящик был закрыт — пустота, которая помнила всё. Средний — закрыт намертво, там лежал обломок Веника, который она так и не выбросила. Нижний — приоткрыт, на миллиметр, на два. Пушок спал внутри. Его пульс был ровным. Он не боялся.

Туннель был длинным.

Она не ходила этой дорогой год. В прошлый раз, когда она ехала на сбор, её везли два молодых стула — те, что потом не вернулись из разведки к Пылесосам. Она ехала одна. Это было правильно. Она не хотела, чтобы кто-то тратил на неё силы.

Стены туннеля изменились. Раньше они были серыми, мокрыми, пахнущими глубиной и камнем. Теперь в них, в трещинах, поселилась пыль — та самая, золотистая, древняя. Она светилась тускло, как старые, забытые звёзды, и Тумбочка чувствовала: это память. Тех, кто шёл этой дорогой раньше. Тех, кто не вернулся.

Зал Павших Диванов открылся ей не сразу.

Сначала туннель расширился, потолок поднялся так высоко, что терялся в темноте, а стены расступились, словно нехотя, словно боялись впустить ещё одного свидетеля. Потом из темноты выступили очертания — огромные, тяжёлые, неровные. Это были руины.

Когда-то здесь стояли диваны. Не простые, не те, что таскали игроки по тавернам, а древние, изначальные — те, что помнили гномов, помнили первый код, помнили надежду. Их разбили в битве у Стеклоанной Горки. Их обломки так и остались лежать на полу — серые, чёрные, местами покрытые копотью, местами — золотистой пылью, которая не смывалась.

Теперь здесь был мемориал.

Тумбочка остановилась у входа.

Она смотрела на стены. В них, в камне, зияли щербины — следы анти-пыли, которой стреляли Пылесосы. Некоторые щербины были мелкими, почти незаметными — туда попали случайно. Другие — глубокими, рваными, похожими на раны. Они не зажили. Они не могли зажить. Камень не умеет заживать. Только помнить.

На полу, там, где когда-то лежали обломки диванов, теперь были золотистые полосы. Тумбочка знала, что это. Пыль жизни. Тех, кого не спасли. Тех, кто рассыпался, прикрывая отступление. Тех, чьи имена никто уже не помнил, но пыль помнила.

В центре зала, на самом возвышении, стоял постамент. Пустой. Его сложили из обломков — из того, что осталось от разрушенных колонн, от разбитых трибун, от сломанных кроватей

и вешалок, которые не дожили до этого дня. Камни держались друг за друга не на растворе — на памяти. На обещании. На надежде.

Статую так и не поставили.

Об этом спорили долго. Стулья предлагали изобразить Рувима — ковра, который нажал красную кнопку. Игроки хотели общий монумент — всем павшим. Метла-Ветров молчала, но однажды сказала: «Поставьте пустой постамент. Как память о том, что мы не знаем, кто настоящий герой». Спор затих. Постамент остался пустым.

Тумбочка подкатилась к нему, остановилась у подножия и стала ждать.



## Часть 4. Кто пришёл

Ветераны прибывали медленно.

Первым приехал Стул-командир. Он был старым — не таким старым, как стул-беглец, но достаточно, чтобы его дерево, когда-то дубовое, тяжёлое, теперь покрылось сеткой глубоких, не заживающих трещин. Его спинка была разбита, подлокотники отсутствовали, а вместо левой задней ножки торчал деревянный протез — грубый, обструганный кое-как, но надёжный. Он не хромал. Он ехал ровно, с достоинством.

Он узнал Тумбочку сразу.

— Ты пришла, — сказал он. Не спросил — утвердил.

Тумбочка чуть-чуть приоткрыла верхний ящик — жест, означающий «да».

Стул-командир остановился рядом, коснулся её левого бока своей единственной уцелевшей ножкой — осторожно, почти невесомо, как касаются раненого зверя, которого боятся, но хотят спасти.

— В прошлый раз тебя не было, — сказал он. — Мы думали, ты рассыпалась.

Тумбочка не ответила. Она не умела говорить. Но её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «я здесь».

Стул-командир кивнул. Он не просил большего.

Второй приехала Вешалка без крючка.

Тумбочка узнала её не сразу. Когда-то, давно, в битве у Стеклойной Горки, эта вешалка закрыла собой троих — троих стульев, которые не успели отбежать от волны анти-пыли. Её крючок расплавился, перекладина треснула, и она упала. Её считали погибшей. Но она выжила.

Теперь она стояла — не висела, стояла — на двух подпорках, грубых, деревянных, прикрученных к её основанию ржавыми гвоздями. У неё не было голоса. Вешалки говорят крючками, а крючка не было. Но она звенела. Тонко, высоко, как колокольчик, как прощание, как надежда.

Тумбочка услышала этот звон и поняла: «Я помню. Я здесь. Я выжила».

Она подкатилась к вешалке, открыла верхний ящик — пустота — и закрыла.

Это был её способ сказать: «Я тоже помню».

Третьими приехали три старых табурета.

Они ехали вместе — как когда-то в бою, держась друг за друга, прикрывая друг друга. Их сиденья были потресканы, ножки погнуты, но они держались. Они не скрипели. Они стучали

ножками по камням — быстро, отрывисто, ритмично. Это была азбука морзе. Язык тех, кто потерял голос, но не потерял память.

Тумбочка не знала этого языка. Но она чувствовала ритм. Он был похож на пульс. На пульс тех, кто не сдаётся.

Табуреты остановились у постамента, замолчали и замерли.

Четвёртым пришёл Линк.

Он шёл пешком — медленно, опираясь на трость. Его перевязанная рука, та самая, что была ранена ещё в первые дни после отключения респауна, зажила, но не до конца. Шрам остался — широкий, багровый, похожий на трещину в старой, засохшей земле. Лука у него не было. Он повесил его на стену в день, когда Пушок пошёл в школу. Сказал: «Больше не понадобится».

Но он пришёл.

Он сел не на постамент, не на камень, не на стул — на пол. Рядом с табуретами. Как равный.

Линк посмотрел на Тумбочку. Улыбнулся — не широко, не радостно, уголками губ, чуть-чуть, почти незаметно. Но улыбнулся.

— Ты всё ещё хранишь? — спросил он.

Тумбочка открыла средний ящик — тот, где лежал обломок Веника, — и закрыла.

«Да», — сказала её пыль.

Линк кивнул. Он не просил большего.

Потом приехали другие. Тумбочка не считала. Она чувствовала: их было около тридцати. Может быть, сорока. Стулья, кровати, вешалки, табуреты, даже два старых, рассохшихся комода, которые когда-то сражались на передовой. Они не говорили. Они стояли, лежали, висели — кто как мог — и смотрели на пустой постамент.

Тишина стала плотной, как стена, как саван, как смерть. Но не страшной. Ожидающей.

## Часть 5. Тумбочку просят сказать

Стул-командир поднялся на постамент.

Это было нелегко. Его деревянный протез скользил по камням, спинка дрожала, но он поднялся. Он встал в центре пустоты — там, где когда-то должна была стоять статуя, — и повернулся к собравшимся.

— Мы здесь, — сказал он. Его голос был низким, тяжёлым, как похоронный звон, но в нём не было страха. Было только принятие. — Не все. Но те, кто ещё может двигаться. Или стоять. Или лежать. Главное — мы здесь.

Он помолчал. Провёл ножкой по камню — жест, означающий «я собираюсь с мыслями».

— Каждый год мы говорим одно и то же. Помним одних и тех же. Спрашиваем одни и те же вопросы: не умерла ли надежда? не проснулись ли Пылесосы? не зря ли мы выжили?

Он замолчал. Его дерево дрожало.

— В этом году я не буду говорить. Я попрошу говорить её.

Он указал на Тумбочку.

Все повернулись к ней. Тридцать пар не-глаз — трещин, петель, крючков, подголовников — уставились на маленькую, старую, почти пустую тумбочку у подножия постамента. Она стояла неподвижно, её петли не скрипели, ящики были закрыты. Она выглядела мёртвой. Но все знали — она жива.

— Ты хранишь память, — сказал Стул-командир. — Ты была в мире создателей. Ты видела их. Ты говорила с ними. Ты знаешь то, чего не знаем мы. Скажи: не умерла ли надежда?

Тумбочка молчала.

Она не умела говорить. У неё не было голоса, не было скрипа, не было вибрации. Только пыль. Та самая, древняя, золотистая, которая жила в её ящиках много лет. Но как сказать пылью то, что можно сказать только словом?

Она стояла и молчала.

В зале стало тихо. Слишком тихо. Даже вешалка без крючка перестала звенеть.

— Она не может говорить, — проскрипел кто-то из задних рядов. — Зачем ты её позвал?

— Она может, — ответил Стул-командир. — Не голосом. Пылью.

Тумбочка закрыла глаза (если у тумбочки есть глаза — два тёмных пятна на потрескавшейся поверхности).

Она не знала, что сказать. Она не готовилась. Она не умела выступать. Она умела только хранить. Но если не она — то кто?

Она открыла нижний ящик.

Из него, из темноты, из мягкой, почти невесомой глубины, выкатился Пушок.

Он был маленьким — меньше любого стула, меньше любой вешалки, меньше даже табуретов. Его края были оплавлены, трещины светились золотом, стеклянные кромки блестели в тусклом свете. Он не был похож на героя. Он был похож на коврик. Обычный, треснутый, почти незаметный.

Но он выкатился.

Он остановился перед постаментом, приподнял угол и заговорил.

Не голосом — пылью. Но все услышали. Потому что эта пыль была в каждом. В каждом стуле, в каждой кровати, в каждой вешалке, в каждом, кто когда-либо скрипел, болел, любил, умирал.

— Отец не проснулся, — сказал Пушок. — Он лежит в Гнезде, обвитый древком матери. Его правый край светится тускло, но светится. Гвоздь Гролла молчит. Но он тёплый.

Он замолчал на секунду. Его пульс стал чуть чаще — не от страха, от волнения.

— Мать не взяла новую тряпку. Она говорит, что старая была настоящей. А всё остальное — просто мокрые тряпки. Она обнимает отца каждую ночь. И каждое утро.

Он повернулся к Тумбочке — не физически, пылью.

— Тумбочка хранит. В её верхнем ящике — пустота. Но эта пустота помнит всё. В среднем — обломок Веника. Она не выбросила его. Никогда не выбросит. В нижнем — я. Она приоткрывает ящик каждое утро. Чтобы я мог дышать. Чтобы чувствовать. Чтобы помнить.

Он замолчал.

Тишина стала плотной, как стена, как саван, как смерть. Но не страшной.

— Я хожу в школу, — сказал Пушок. — Учусь отличать игрока от стула. Учусь ничего не делать. Учусь лежать ровно. Я не герой. Я просто коврик. Но в нижнем ящике до сих пор тепло.

Он замолчал окончательно.

Стул-командир смотрел на него, и его дерево — чёрное от копоти, покрытое сеткой глубоких трещин — дрожало.

— Ты — сын ковра, который не сдался, — сказал он. — И швабры, которая поймала его над пропастью. И тумбочки, которая хранила память. Ты — это они. Все они. Вместе.

Пушок не ответил. Он закатился обратно в нижний ящик.

Тумбочка закрыла ящик. Не до конца — оставила щель.

## Часть 6. Спор о будущем

Тишина длилась недолго.

Из задних рядов выехал старый, почти чёрный стул с треснутым сиденьем и одной ножкой, перемотанной проволокой. Он был одним из тех, кто воевал на передовой — не в первой битве, во второй, когда Пылесосы прорвались к Логову. Он потерял трёх товарищей. Он помнил их имена.

— Всё это хорошо, — сказал он. Его скрип был резким, металлическим, похожим на скрежет ржавых петель. — Школа. Тепло. Память. Но Пылесосы не исчезли. Они спят. В нижних туннелях. Я слышал их гул прошлой ночью. Тихий. Но он был.

В зале зашевелились. Вешалка без крючка зазвенела тревожно. Табуреты застучали ножками — быстро, отрывисто, как пулемётная очередь. Кровати стукнули пружинами.

— Он прав, — сказал кто-то из глубины. — Мы не можем расслабляться. Мы должны быть готовы.

— Готовы к чему? — ответил другой голос — тихий, усталый, похожий на шорох сухой листвы. Это была старая кровать, та самая, что лежала в лазарете после битвы и так и не встала. — Мы едва стоим. У кого из нас есть целые ножки? У кого есть голос? Мы не солдаты. Мы — инвалиды.

— Лучше быть инвалидом, чем мёртвым! — резко проскрипел чёрный стул.

— А лучше быть живым, — ответила кровать. — Просто живым. Без войн. Без клятв. Без «будь готов».

Спор разгорался. Стулья скрипели, кровати стучали, вешалки звенели, табуреты отбивали дробь. Кто-то требовал немедленно начать подготовку к обороне. Кто-то кричал, что они устали и хотят просто дожить. Кто-то молчал и слушал.

Линк поднялся с пола.

Он сделал это медленно, опираясь на трость, но поднялся. Он не был мебелью. Он был игроком. Бывшим лучником, который когда-то охотился на стульев, а потом понял, что они не враги. Он не имел права голоса на ветеранском собрании мебели. Но он сказал.

— Я не умею скрипеть, — сказал Линк. Его голос был низким, хриплым, как похоронный звон, но в нём не было страха. Было только принятие. — Я не умею стучать пружинами. Я не умею звенеть крючком. Я умею только помнить. И я помню, как вы умирали. Как прикрывали меня. Как тащили меня из-под анти-пыли. Я не прошу вас снова воевать. Я прошу вас не забывать, что война может вернуться.

Он замолчал. Его перевязанная рука дрожала.

— Но я не прошу вас готовиться. Я прошу вас жить. Потому что если вы перестанете жить — вы проиграете даже без войны.

В зале стало тихо.

Чёрный стул хотел что-то сказать, но его проволока заскрежетала, и он замолчал. Кровать вздохнула (если кровати могут вздыхать) и перестала стучать пружинами.

Спор не был решён. Но он затих.

## Часть 7. Тумбочка открывает пустой ящик

Тумбочка смотрела на всё это и молчала.

Она слушала. Она всегда слушала. Её ящики были пусты, но пустота умела слушать лучше, чем любой звук. Она слышала страх чёрного стула. Слышала усталость старой кровати. Слышала надежду Линка. Слышала тишину тех, кто боялся говорить.

Она не знала, кто прав. Может быть, все. Может быть, никто.

Она знала только одно: если она не скажет сейчас — никто не скажет никогда.

Она открыла верхний ящик.

Самый маленький. Самый пыльный. Самый забытый.

Он был пуст.

Абсолютно. Гвоздь Гролла лежал на правом крае Рувима. Обломки Веника — в среднем ящике. Пыль гномов рассыпалась в битве у Стеклойной Горки год назад. Осталась только пустота.

Но из этой пустоты, из её глубины, из того места, где когда-то были гвозди, обломки, надежда, засветилось нечто.

Не предмет. Не память. Не код.

Эхо.

Голос Веника. Старый, мудрый Веник, который слушал всех. Который слушал игроков, когда они смеялись в тавернах. Который слушал мебель, когда её жгли. Который слушал их, когда они клялись на пыли. Который слушал до последнего вздоха.

Он не говорил слов. Он говорил тишиной. Тишиной, которая была громче любого крика.

И все слышали.

Потому что эта тишина была в каждом. В каждом стуле, в каждой кровати, в каждой вешалке, в каждом, кто когда-либо скрипел, болел, любил, умирал.

Она говорила: «Пустота — это не слабость. Это место, где начинается новая память».

Тумбочка закрыла ящик.

Она ничего не сказала. Она не умела говорить. Но все поняли.

Стул-командир опустил голову (если у стульев есть голова). Его дерево дрожало.



— Ты права, — сказал он тихо. — Мы не знаем, что будет. Мы не знаем, вернутся ли Пылесосы. Мы не знаем, проснётся ли ковёр. Мы знаем только одно: мы ещё здесь. И пока мы здесь — есть надежда.

Он спустился с постамента. Подошёл к Тумбочке. Коснулся её верхнего ящика своей единственной уцелевшей ножкой — осторожно, почти невесомо.

— Ты — наша память, — сказал он. — Не потому, что ты самая старая. Потому что ты не боишься пустоты.

## Часть 8. Не клятва, а обещание

Ветераны не клялись.

Они не поднимали ножек, не стучали пружинами, не звенели крючками. Они просто молчали. Молчали так, как молчат, когда слов больше нет. Когда всё уже сказано. Когда осталось только быть.

Это была их новая клятва.

Не сражаться до последнего. Не мстить. Не готовиться к новой войне. Просто — помнить. И жить. Пока могут.

Стул-командир первым нарушил молчание.

— Мы не проиграли, — сказал он. — Мы просто перестали быть солдатами.

Линк, стоявший у стены, кивнул.

— И это не поражение, — добавил он. — Это взросление. У мебели. У игроков. У всех нас.

Старая кровать вздохнула. Её пружины стукнули один раз — тихо, спокойно, почти счастливо.

Табуреты перестали стучать. Вешалка без крючка замерла. Чёрный стул с проволокой на ножке опустил спинку — жест, означающий «я сдаюсь. не в бою — в споре».

Тумбочка стояла у подножия постаментов, маленькая, старая, почти пустая. Её петли не скрипели. Её ящики были закрыты. Она выглядела мёртвой. Но все знали — она жива.

Она открыла нижний ящик — на миллиметр, на два. Пушок лежал внутри. Его пульс был ровным, спокойным, уверенным.

«Всё хорошо», — сказала его пыль.

Тумбочка закрыла ящик. Не до конца — оставила щель.

## Часть 9. Дорога домой. Кладбище обломков

Сбор закончился не тогда, когда Стул-командир объявил «все свободны».

Он закончился тогда, когда ветераны начали расходиться. Медленно, тяжело, кто как мог. Стулья ехали, хромая. Кровати ползли, волоча сломанные ножки. Вешалки висели на стенах, ожидая, пока их снимут. Табуреты стучали в последний раз — прощаясь.

Тумбочка не торопилась.

Она ждала, пока зал опустеет. Потом покатилась к выходу.

Дорога домой была длинной.

Она не спешила. Её колёсики — одно лопнуло ещё в Пустоши — скрежетали по камням, и этот скрежет был единственным звуком в туннеле. Пушок спал в нижнем ящике. Его пульс был ровным. Он не знал, что она собирается сделать.

Она остановилась у развилки.

Налево — туннель к Логову, к Гнезду, к дому. Направо — тупик. Не совсем тупик. Там, в глубине, за двумя поворотами, было место, которое никто не называл вслух. Кладбище обломков.

Тумбочка повернула направо.

Туннель стал уже, стены — ниже, потолок — тяжелее. Воздух пах пылью — не живой, золотистой, а мёртвой, серой, той, что остаётся после того, как всё уже кончилось. Она катилась медленно, осторожно, как будто боялась разбудить тех, кто спал здесь вечным сном.

Кладбище открылось ей неожиданно.

Это была небольшая пещера, круглая, с низким, давящим потолком. В центре лежали обломки. Стулья без ножек. Кровати без пружин. Вешалки без крючков. Табуреты без сидений. Их сложили здесь — не в могилу, не в кучу, а просто — рядом. Как память. Как напоминание. Как прощание.

Некоторые обломки были старыми — тёмными, почти чёрными, покрытыми слоем вековой пыли. Другие — новыми, ещё сохранившими слабый золотистый отблеск. Те, кто рассыпался в последней битве. Те, кого не успели спасти.

Тумбочка остановилась у входа.

Она смотрела на обломки, и её петли — две левые, одна правая — дрожали. Она узнавала их. Не все — слишком много, слишком много. Но некоторых помнила.

Вот стул без спинки. Тот самый, который сгорел в таверне «Кривой Пёс» в первый день. Игроки смеялись, глядя на его корчи. Он не кричал — стулья не умеют кричать. Но он скрипел. Долго. Отчаянно. Пока не замолчал навсегда.

Вот кровать с выпавшими пружинами. Её сломали игроки, когда праздновали победу над очередным рейдом. Они прыгали на ней, смеялись, пили эль. А она просто лежала и ждала. Ждала, когда кто-нибудь починит её. Но никто не пришёл.

Вот вешалка с погнутым крючком. Её сорвали со стены вместе с плащом игрока, который смеялся. Потом наступили на неё. Крючок погнулся, перекладина треснула. Её выбросили в угол.

Тумбочка подкатилась к обломкам.

Она открыла верхний ящик — самый маленький, самый пыльный, самый забытый.

Пустота.

Она не сказала ничего. Она не умела говорить. Но её пыль — та самая, древняя, золотистая — вырвалась из ящика, закружилась в воздухе, коснулась каждого обломка, каждой щепки, каждой пылинки. И вернулась обратно.

«Я помню вас», — сказала её пыль.

Тумбочка закрыла ящик.

Пушок в нижнем ящике вздрогнул. Его маленькое, треснутое тело засветилось ярче — не намного, на долю свечения, на полпульсации. Он почувствовал. Не умом — пылью. Он почувствовал, что она плачет. Если тумбочки могут плакать.

— Ты плачешь? — спросил он. Не голосом — пылью.

Тумбочка не ответила. Но её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «нет. я просто помню».

Она развернулась и покатила обратно. К дому. К Гнезду.

Часть 10. Вечер. Тишина, которая не требует ответа

В Гнезде было темно.

Золотистый свет, пробивавшийся сквозь щели в потолке, угас — не исчез, просто стал серым, привычным, почти домашним. Элла лежала на подстилке из обгоревших тряпок, обвив древком правый край Рувима. Золотая нить блестела в темноте — тонкая, почти невидимая, но живая. Не исцелила трещины, но была там. Как обещание. Как надежда. Как жизнь.

Рувим лежал неподвижно. Его правый край, повреждённый на девяносто девять с половиной процентов, истончённый, почти прозрачный, едва светился. Только одно маленькое пят-

нышко в самом центре — там, где когда-то был гвоздь Гролла, — сохраняло слабое золотистое свечение. Пыль жизни. Крошечный остров в море умирающей памяти.

Гвоздь Гролла лежал на его правом крае, ржавый, старый, с широкой шляпкой. Он не двигался. Не светился. Но он помнил.

Тумбочка стояла у стены.

Она вернулась час назад. Никто не спрашивал, как прошёл сбор. Никто не спрашивал, что она сказала. Никто не спрашивал, плакала ли она у кладбища обломков. Они просто ждали. Они умели ждать.

Она открыла нижний ящик.

Пушок выкатился. Он был тихим — не тревожным, тихим. Он посмотрел на неё (если у ковриков есть глаза), и его маленькое, треснутое тело чуть-чуть засветилось.

— Ты молодец, — сказал он. Не голосом — пылью.

Тумбочка не ответила. Но её петли скрипнули — два раза. Коротко, сухо, как «спасибо».

Пушок закатился обратно в ящик.

Тумбочка прикрыла ящик — не до конца, оставила щель, чтобы он мог дышать. Чтобы чувствовать. Чтобы помнить.

Она откатилась к стене — своей стене, своему углу, своей вечности — и замерла.

Она смотрела в потолок. На серый, почти мёртвый свет, который просачивался сквозь щели.

Она не знала, вернутся ли Пылесосы. Не знала, проснётся ли Рувим. Не знала, сколько у них осталось времени.

Но она знала одно.

Она не одна.

Пушок в нижнем ящике светился. Ровно, спокойно, уверенно.

Как обещание.

Как надежда.

Как жизнь.

— —

Итоговое состояние на конец главы 2

#### Персонаж Состояние

Тумбочка Вернулась со сбора. Верхний ящик закрыт (пустота как память), средний закрыт (обломок Веника), нижний приоткрыт. Спокойна. Плакала (пылью) у кладбища обломков.

Пушок Выступил на сборе. Впервые почувствовал себя не ребёнком, а молодым ветераном. Вернулся в нижний ящик. Светится ровно.

Элла Не ездила на сбор. Нянчила внука (отсылка). Обвила древком правый край Рувима. Рувим Без изменений. Правый край чуть-чуть светится. Гвоздь Гролла на месте.

Линк Пришёл на сбор как равный. Без лука, с тростью. Выступил против новой войны.

Стул-командир Провёл сбор. Попросил Тумбочку «сказать». Принял её пустоту как ответ.

Вешалка без крючка Была на сборе. Звенела. Узнала Тумбочку.

Три старых табурета Были на сборе. Стучали ножками (азбука морзе). Поддержали Линка.

Чёрный стул с проволокой Требовал готовиться к новой войне. В конце спора сдался.

Ветераны Не клялись. Обещали помнить и жить.

— —

Ключевая тема главы:

Взросление после войны. Необходимость не только воевать, но и уметь жить с памятью о потерях, не превращаясь ни в мавзолей, ни в арсенал. Тумбочка хранит — но не давит памятью. Пушок растёт — но не забывает. Ветераны не клянутся мстить — они обещают помнить. Война не выигрывается раз и навсегда. Но её можно пережить. И это — тоже победа.

## **Глава 3. Последнее приключение**

## Часть 1. Боль, которая не спит

Тишина в Гнезде никогда не была абсолютной.

Даже в самые чёрные, самые беспросветные часы, когда серый свет сквозь щели в потолке становился почти мёртвым, а пыль оседала так тяжело, что, казалось, её можно было потрогать руками, — даже тогда Гнездо дышало. Кто-то скрипел во сне. Кто-то перекачивался с боку на бок. Кто-то стонал от старых ран, которые не заживали, потому что времени на них уже не оставалось.

Но сегодня — сегодня Гнездо дышало болью.

Тумбочка почувствовала её не сразу. Она стояла у своей стены — левой, той, которую выбрала много лет назад и с тех пор не меняла. Её петли были чуть приоткрыты, и она слушала. Не ушами — у неё не было ушей. Пылью. Та самая пыль, древняя, золотистая, которая жила в её ящиках, откликалась на каждый звук Гнезда: на ровный пульс Пушка в нижнем ящике, на слабое, едва различимое дыхание Эллы, обвинившей древком правый край Рувима, на редкие, почти забытые скрипы старого стула-проводника, который дремал в углу.

Пульс Пушка был ровным. Но в нём — в самой его глубине, в том, что Тумбочка чувствовала только самой чуткой, самой старой частью своей пыли, — появилась нота. Не тревога, не страх. Другое. Тупое, ноющее, почти забытое ощущение, которое она не чувствовала много месяцев.

Боль.

Пушок не жаловался. Он никогда не жаловался. Даже когда год назад, после битвы с Пылесосами, его маленькое, треснутое тело лежало в нижнем ящике, оплавленное, почти прозрачное, с паутиной тонких, как волос, трещин, — он не жаловался. Он просто лежал и ждал. Ждал, когда боль утихнет. Ждал, когда тепло вернётся. Ждал, когда Тумбочка откроет ящик.

Но сегодня боль не утихала. Она пульсировала в такт чему-то невидимому — может быть, вибрации камней, может быть, дыханию системы, может быть, просто времени, которое текло в этом месте иначе, чем в реальности.

Тумбочка открыла нижний ящик.

Пушок лежал на дне — маленький, золотистый, треснутый. Его края, оплавленные в той давней битве, когда он пошёл в туннель один и отражал атаки, пока не треснул, — они не зажили. Они изменились: стали ровнее, мягче, покрылись тонкими золотистыми прожилками, похожими на старые, дорогие шрамы. Но правый край — тот самый, которым он когда-то отражал первый удар анти-пылью, — был тёмным. Не серым, не чёрным. Тёмным. Как будто внутри, под стеклянной, оплавленной поверхностью, что-то затаилось и ждало.

Пушок не спал. Когда Тумбочка открыла ящик, он чуть-чуть приподнял угол — жест, означающий «я здесь. я жив. не волнуйся». Но его пульс был неровным. Не тревожным — болезненным.



— Что с тобой? — спросила Тумбочка.

Не голосом — пылью. Тонкой, почти неразличимой вибрацией, которую Пушок научился понимать задолго до того, как научился говорить сам.

Пушок не ответил сразу. Он лежал, и его тёмный правый край пульсировал в такт чему-то невидимому.

— Это старая рана, — наконец сказал он. — Та, которую я получил в туннеле. Когда отражал. Когда треснул. Она не болела год. А теперь... болит.

Тумбочка замерла.

Она помнила этот день. Помнила, как Пушок — маленький, золотистый, только научившийся держать форму — покатился в туннель один. Как она кричала ему вслед, но он не слышал. Как она ждала у входа, считая секунды, минуты, вечность. Как он вернулся — треснутый, оплавленный, почти мёртвый, но живой.

Она помнила, как положила его в нижний ящик и поклялась: «Никогда больше».

И вот — «никогда больше» кончилось. Боль вернулась.

— Это не просто боль, — сказал Пушок. Его пульс стал чуть ровнее — он старался не пугать её. — Это... память. Не моя. Та, что застряла в трещине. Когда анти-пыль ударила в меня, она не стёрла меня. Но что-то осталось. Внутри. Под стеклом.

Тумбочка не знала, что делать. Она умела хранить. Она умела ждать. Она умела надеяться. Но она не умела лечить. Не умела вынимать боль из трещин. Не умела возвращать тепло туда, где остыло.

Она закрыла ящик — не до конца, оставила щель, чтобы Пушок мог дышать. Чтобы чувствовать. Чтобы помнить.

И покатила к выходу из Гнезда.

Часть 2. Метла-Ветров слышит то, чего не слышат другие

Метла-Ветров стояла в Центральном зале, прислонившись к стене своим треснутым древком.

Она сильно изменилась за год. Её щетина — когда-то рыжая, жёсткая, пахнущая лесом и дождём, — теперь была почти полностью выдрана. Осталось два пучка. Маленьких, серых, почти мёртвых. Но они ещё держались. И она чистила ими — медленно, методично, не торопясь. Каждое движение было молитвой. Каждый скрип — просьбой. Каждая пылинка, которую она сметала с камня, — обещанием.

Она чистила пол, когда Тумбочка выкатилась из Гнезда. Не подняла голову — услышала. Её щетина, даже повреждённая, улавливала вибрации, которые не слышали другие.

— Он болит, — сказала Метла. Не спросила — утвердила.

Тумбочка остановилась рядом. Её петли скрипнули — один раз. Коротко, сухо, как «да».

Метла перестала чистить. Она стояла, опираясь на древко, и её два последних пучка щетины дрожали.

— Я знаю эту боль, — сказала она. — Не потому, что чувствовала сама. Потому что слышала её. Много лет назад. Когда чистила Зал Павших Диванов после битвы. Там, среди обломков, один стул ещё дышал. Его спинка была разбита, ножки отломаны, сиденье треснуло. Он не мог двигаться. Не мог скрипеть. Но он болел. Я слышала это. Как вибрацию. Как шёпот. Как надежду, которая умирает, но не сдаётся.

Она замолчала. Её древко дрожало.

— Я спросила у старого ковра-самурая, что это за боль. Он сказал: «Это не боль тела. Это память о первом ударе. Та, которая остаётся, даже когда всё остальное зажило. Её нельзя вылечить обычной пылью. Нужна нить. Нить Арахны».

Тумбочка замерла.

— Нить Арахны? — спросила она. Пылью. Вибрацией.

— Да, — сказала Метла. — Её плели не гномы. Не игроки. Не система. Те, кто был ДО. Пауки-Кодеры. Они не стирали баги — они переплетали их. Сшивали разорванные концы кода в новые формы. Их нить могла соединить даже то, что рассыпалось на пыль. Но Пауков больше нет. Их вытеснили Пылесосы. Осталось только одно место, где ещё может висеть последняя нить. Забытая Серверная.

Она посмотрела на Тумбочку. Если у метлов есть глаза — два тёмных пятна на древке, которые видели слишком много смертей, чтобы бояться тьмы.

— Это опасно, — сказала Метла. — Туда не ходили много лет. Там даже пыль боится оседать. Но если есть кто-то, кто может пройти туда и вернуться — это ты. Ты уже была в мире создателей. Ты уже прошла сквозь грань. Ты не боишься пустоты.

Тумбочка молчала.

Она не боялась пустоты. Она боялась другого. Она боялась, что Пушок захочет идти с ней.

— Я расскажу, как найти вход, — сказала Метла. — Но не сегодня. Сегодня — просто слушай.

И она начала шептать. Древние слова гномов. Те, что помнили путь в Серверную. Те, что не записывали, потому что боялись, что Пылесосы прочитают. Те, что передавались от древка к древку, от щетины к щетине, от памяти к памяти.

Тумбочка слушала. И запоминала. Не умом — пылью.

### Часть 3. Пушок слышит разговор

В Гнезде, в нижнем ящике, Пушок лежал неподвижно.

Он не спал. Он слушал.

Не ушами — у него не было ушей. Пылью. Та самая пыль, которая была его телом, его памятью, его жизнью, откликалась на каждый звук Гнезда. Он слышал, как Тумбочка выкатилась в Центральный зал. Слышал, как Метла перестала чистить. Слышал их разговор — не слова, но вибрации. И в этих вибрациях, в их почти забытой, почти стёртой, но всё ещё живой глубине, было нечто, чего он не чувствовал раньше.

Нить Арахны.

Он не знал, что это. Не знал, где её искать. Не знал, как она выглядит. Но он знал одно: эта нить может унять его боль. Ту самую, старую, которая вернулась сегодня ночью и не уходила.

Он не хотел, чтобы Тумбочка шла одна.

Он не хотел, чтобы она рисковала.

Он уже не был тем маленьким, треснутым ковриком, который пошёл в туннель один, потому что не мог ждать. Он вырос. Он научился ждать. Он научился лежать ровно. Он научился отличать игрока от стула.

Но он не научился одному: смотреть, как Тумбочка уходит в опасность, а он остаётся в ящике.

Когда Тумбочка вернулась в Гнездо — через час, может быть, через два, время потеряло смысл, — Пушок уже ждал.

Она открыла нижний ящик, чтобы проверить его пульс. Он был ровным. Слишком ровным.

— Ты слышала? — спросил Пушок.

Тумбочка замерла.

— Я пойду с тобой, — сказал Пушок. Не спросил — утвердил.

Тумбочка закрыла ящик.

Не до конца — оставила щель. Но закрыла.

Жест, означающий «нет».

Пушок не спорил. Он лежал в темноте, и его правый край — тёмный, ноющий, болезненный — пульсировал в такт его пульсу. Он не спорил. Он просто ждал.

Он умел ждать.

## Часть 4. Тумбочка решает сама

Ночь прошла тяжело.

Тумбочка не спала. Она стояла у своей стены, маленькая, старая, почти пустая, и слушала. Пульс Пушка был ровным — слишком ровным, как будто он специально старался не тревожить её. Но его правый край, тот самый, тёмный, пульсировал в такт чему-то невидимому. Боль не уходила. Она затаилась, но не ушла.

Элла, обвившая древком правый край Рувима, тоже не спала. Она чувствовала напряжение в воздухе — то самое, которое предшествует важному решению. Она не спрашивала. Она ждала.

Корвин заходил в Гнездо дважды. Первый раз — чтобы принести воды. Второй — чтобы проверить, все ли живы. Он не сказал ни слова. Он знал: когда Тумбочка молчит, значит, она думает. А когда она думает — лучше не мешать.

Под утро, когда серый свет сквозь щели в потолке стал чуть светлее, Тумбочка открыла средний ящик.

Тот, где лежал обломок Веника.

Она не открывала его много месяцев. С тех пор, как в последний раз показывала ветеранам на собрании. Обломок лежал на дне — маленький, серый, почти незаметный. Но когда Тумбочка открыла ящик, он засветился. Не ярко — тускло, почти незаметно, как звезда перед рассветом, как надежда, которая умирает, но не сдаётся.

Она коснулась его своей самой чувствительной петлёй — той, что помнила первый скрип, первую боль, первую надежду.

«Помоги мне найти путь», — мысленно сказала она.

Обломок засветился ярче — на долю свечения, на полпульсации. И указал. Не в туннель, не в Центральный зал, не к выходу из Логова. Вверх. В потолок. Туда, где за камнями, за пылью, за памятью, была вентиляция. Забытая. Старая. Та, которую не чистили много лет.

Тумбочка закрыла ящик.

Она знала, что должна идти одна.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.